



Фантастическая повесть

Он пришел в себя оттого, что его вдруг извлекли из темноты и теплое, бережно хранившего его покоя. Он силился понять, что же означает все это — слепящее пространство, в котором он повис, пронизывающий холод неуютности, ускользающие точки опоры, которых он почти не ощущал, — но мозг его отказывался повиноваться ему, и сознание его было пригодно только на то, чтобы зафиксировать это ощущение холода и окружающей чужеродной пустоты. Он напряг все силы, чтобы разорвать это оцепенение мыслей, но вместо окончательного пробуждения вдруг ощутил — не понял, а снова только ощутил, что он не дышит.

Это переполнило его таким ужасом, что он закричал.

И не услышал собственного крика.

А потом снова стало тепло и почти так же хорошо, как и прежде, и что-то привычное и нежное окружило его, переполнило, прогнало весь этот ослепительный, леденящий ужас. Он замолчал и подчинился этой нежности, которая была ему давно и несомненно знакома; знакома даже не по тому тепличному, безмятежному покою, который предшествовал его нынешнему состоянию, нет; окутывавшая, обволакивавшая его нежность, пока без образа, без какого-то конкретного оформления, была известна ему гораздо раньше. Она не была предысторией его пробуждения — она была предысторией самого сна.

Он забылся, счастливый и успокоенный. Вскоре проснулся,

уже привычно ощутил это нежное и всезаслоняющее, склонившееся над ним. Опять уснул. Так он засыпал и просыпался, и, если вдруг не находил над собой этого ласкового и теплого, чему не было пока названия, кричал. Правда, крика у него почему-то не получалось — звуков он по-прежнему не слышал. Но то заботливое и неусыпное безошибочно угадывало, что его зовут, и тотчас же появлялось. И снова становилось хорошо.

И так день за днём.

А потом он вдруг понял, что уже некоторое время слышит свой голос. Правда, только теперь он осознал, что этот беспомощный, отвратительный писк, который с некоторых пор так раздражал его, доносится не извне, а рождается где-то внутри его самого. Тогда ему стало стыдно своей слабости и беспомощности, и он решил больше не кричать. Но само возвращение способности издавать хоть какие-то звуки обрадовало его, и он начал потихоньку проверять свои возможности, произнося отдельные буквы и пытаясь составить из них если не слово, то хотя бы несколько отдельных слогов.

Но попытки его были безрезультатны, потому что ни единого слова он просто не мог припомнить. Они сплошной, вязкой массой шевелились в глубинах его сознания, но на поверхность не всплывало ни одно.

Одновременно со способностью издавать звуки возвращалась и четкость зрения — бесформенное ласковое нечто, постоянно склонявшееся над ним, стало приобретать черты человеческого лица, давно знакомого, бесконечно дорогого, но пока не узнаваемого. Самое странное в этом лице было то, что оно казалось очень большим, таким большим, что заслоняло все на свете. Лицо наклонялось ниже, шевелило губами, но слова оставались непонятными — воспринималось какое-то нежное журчание, то веселое, то чуточку тревожное. Он слушал радостно и жадно, потому что знал: рано или поздно ясность мысли вернется к нему, как вернулись зрение и слух, и тогда он начнет понимать, что же творится вокруг него и главное — с ним самим. Он предчувствовал, что это понимание придет с каким-то словом, которое он непременно уловит в общем журчании ласкового голоса, и все станет на свои места, все будет названо собственными именами, и главное, это милое, заботливое лицо тоже обретет свое имя.

И снова в ожидании проходили дни за днями, пока однажды вместо потока неразъединимых, сливающихся друг с другом звуков прозвучало что-то коротенькое и такое простое:

— Ма-м...

Хрупкая ледяная корочка, сковывавшая его память, наконец хрустнула, и первой каплей, проступившей сквозь эту трещинку, было не подсказанное слово, а имя. И, делая над собой невероятные усилия, он заставил свой язык произнести:

— А-лин! — и засмеялся, переполненный счастьем возвращения к жизни.

Алин. Ну конечно же — Алин! Горячая волна ответной нежности захлестнула его, и теперь лед беспомысленства таял стремительно и безвозвратно от воркующего шепота:

— Алин, Алин...

— Да нет же, маленький мой, глупышка мой — МАМА!

— Алин! — повторял он упрямо и звонко.

И тогда доброе, затуманившееся лицо отодвинулось куда-то в сторону, и на его месте появилось другое, виденное уже несколько раз и постоянно раздражавшее тем, что оно было не менее знакомо, чем то, первое, но он чувствовал, что вот это недоброе лицо он уже не сможет ни узнать, ни назвать.

— Ну-ну, — проговорил тот, второй. — Не будь маленьким упрямецем. Это мама. Ты же можешь это сказать: ма-ма. Ну, давай вместе, это ведь так просто, Рей: ма-ма!

Тот, кого почему-то назвали Реем, молчал. Он не собирался откликаться на это незнакомое имя. И вообще все в нем перевернулось, перепуталось, и виной тому был этот невыносимо монотонный голос, который смял и уничтожил только что поднявшуюся в нем радость. И тогда на смену доверчивой нежности возникло новое чувство, непривычное, грозное, непонятно как уместившееся в его маленьком, беспомощном тельце. Чувство, с которым ему пока еще нечего было делать, ибо слишком слаб был он сам и слишком непомерно огромен тот, кто заслонил от него Алин. И от сознания своей беспомощности, оттого, что с самого начала у него уже что-то отнято и не разрешено, Рей заплакал так горько, как плачут только те, кто еще не научился терять.

— Пойдем, Алин, — строго произнес второй, неузнанный. — И перестань сюсюкать с ребенком. Ты видишь, он понимает и запоминает гораздо больше, чем мы предполагаем. Он даже усвоил, как я к тебе обращаюсь. Мисс Актон, подите к Рею и успокойте его!

К нему подошли, его успокоили. Это третье лицо он воспринимал совершенно безразлично, потому что никогда раньше он не видел его и оно не вызывало в нем ни радости, ни раздражения. В какой-то степени оно даже успокаивало Рея тем, что не порождало мучительной потуги что-то припомнить.

Это третье лицо теперь безотлучно находилось при нем, и вещи, названные незнакомым бесцветным голосом, как-то не приметно возникли вокруг и мало-помалу заполнили собой всю комнату. Потом те же безразличные ему руки, которые теперь были связаны с ничего не значащим для него странным именем «Мисактн», распахнули перед ним сиреневато-голубой мир сада, понесли по хрустящим дорожкам, и над головой его, в переплетенье ветвей низкорослых хикори с пальмовыми лапами перистых облаков возникло многоголосое птичье царство. Но самая звонкая, самая сказочная птица жила не в саду — голос ее доносился из распахнутых окон дома и был так же нежен и щемяще знаком, как и лицо той, которую ему на всю жизнь велели называть «мама»...

Пальцы Алин взлетели над клавишами и замерли: ей показалось, что сзади подошел Норман. Нет, только показалось. Да и рано ему еще возвращаться из колледжа — по четвергам у него занятия в каждом классе, и он нередко опаздывает к привычному часу обеда. Он приходит усталый и раздраженный, и поэтому она старается, чтобы он еще дорогой слышал ее музыку. Сейчас, правда, еще рано, но ведь она может

играть и для маленького Рея, ведь он с мисс Актон в саду, и ей не раз уже казалось, что малыш настораживается и замирает именно тогда, когда она наигрывает любимые мелодии Нормана. Впрочем, того, что ее муж не любил, она не исполняла даже в его отсутствие. Это не было насилием над собой — нет, с тех самых пор, как они покинули Анн-Арбор и переехали сюда, в этот крошечный городок, залегший между двумя волнистыми складками, которыми начинается подножие гор Юго-Запада после золотистого однообразия подсолнуховых плантаций, с тех самых пор, как они с Норманом поселились в собственном двухэтажном коттедже с двумя ванными и непропорционально длинной террасой, уходящей далеко в сад, ее не оставляло ощущение, что даже в отсутствие мужа за ней кто-то постоянно и неусыпно наблюдает, и думает за нее, и что-то за нее выбирает, и от чего-то отказывается, и приобретает уйму прелестных мелочей... все за нее. Может быть, другая, более самостоятельная натура была бы стеснена, если не возмущена столь навязчивой заботой мужа, но для Алин возможность ничего не решать была залогом ее тихого и нетребовательного счастья. В этом не было ее вины — так воспитал ее дед, галантный мсье Дельфен, крупнейший специалист по автомобильным покрытиям в рабочее время и истый приверженец классицизма вне своей фирмы.

Проведя детство между старинными папками пожелтелых гравюр Давида в пудовых переплетах и стопками изящных, почти невесомых альбомов с образцами автомобильных лаков, Алин Дельфен рано обнаружила склонность к живописи, чем привела деда в состояние восторженной готовности на любые жертвы. Но — увы — учителя рисования не задерживались в доме Дельфенов, кто за подражание технике Синьяка, кто за «опошление своей палитры» на манер де Кунинга, сиречь оформление уличной демонстрации, а кто и просто за склонность к только что вошедшим в моду предметным композициям Джаспера Джонса. В довершение своих разочарований мсье Дельфен, откомандированный фирмой на традиционный автомобильный салон в Париже, по ошибке забрел в галерею Даниэля Кордые и наткнулся там не более и не менее как на голову козла, обрамленную автомобильной шиной, — шедевр Роберта Раушенберга, потрясшего в тот сезон весь Париж. Вернувшись к себе в Детройт, старый чудак спустил в мусоропровод все живописные принадлежности любимой внучки, предложив ей перенести свои симпатии на трепетную прозрачность хоральных прелюдий Баха.

Жалела ли маленькая Алин о своем мольберте? Ее об этом не спросили, но неожиданная виртуозность, достигнутая в результате чисто механических упражнений, позволила ей перейти от фортепьяно к органу, что вызвало у мсье Дельфена очередной прилив восторга, за которым он не заметил надвигающегося инсульта. К счастью, приверженец классицизма не знал, что орган обеспечен не менее палитры и что уже без малого два десятилетия разбитные джазовики вроде Каунта Бэйси и чернокожего Джимми Смита небезуспешно случают орган с джазом, — сие неведение позволило мсье Дельфену отвезти девочку в Мичиганский университет, казавшийся ему

наиболее respectableм, и, поздравив ее с поступлением на музыкальный факультет, нечувствительно для себя самого скончаться в тот момент, когда его «плимут» «Савой» (цвет «колодезного мха», оттенок № 263 по каталогу прошлого года) развил скорость в девять миль, направляясь из Анн-Арбора обратно в Детройт. В образовавшемся крошечном из автомобилей самых различных марок и всевозможнейших оттенков нашли свой конец еще шесть человек, из которых трое оставили склочных наследников, незамедлительно предъявивших иск семейству Дельфен, после удовлетворения которого Алин поняла, что ей едва-едва хватит продержаться в университете до конца года.

Шумная студенческая жизнь не захватила Алин. Кукольное личико андерсеновской фарфоровой пастушки и старательно привитое дедом отвращение к одежде спортивного покроя делали ее весьма далекой от идеалов северной студенческой молодежи. Она была по-прежнему одинока, и холодные кафельные стены, замыкающие внутри себя маленький учебный орган, профессора Эскарпи и его подопечных, оставляли снаружи все многообразие жизни, от разбитого вдреизг «плимута» цвета «колодезного мха» до бушующих где-то демонстраций, митингов и стачек. Для Алин существовали только занятия, которым она отдавалась иступленно и самозабвенно, превращая орган в столосое оружие, которым она сражалась за тот крошечный клочок благополучия, который занимали узенькие ступни ее ног. Это была первая борьба ее жизни, и дралась она неумело, зажмурив глаза и размахивая слабенькими кулачками. Поражение ее было неминуемо, и час его наступил в преддверье рождества.

Она исполняла маленькую фа-диез-минорную сицилиану Ван ден Гейна, и бесхитростная мелодия, чистая и простодушная, билась в холодных кафельных стенах, изнемогая от накала каких-то корсиканских страстей, которыми Алин умудрялась начинать любую, даже самую непроходимо-пасторальную пьесу. Профессор, прослушав минуты две, вдруг оборвал игру молодой органистки нетерпеливым жестом дирижера, обнаружившего вместо симфонического оркестра переодетую пожарную команду.

— Мисс Дельфен, — изрек он брюзгливым тоном, — так исполнять Ван ден Гейна можно, разве что пройдя через Чикагские боины. Неуправляемые страсти, видит бог, явление священное, но нельзя же не управлять ими в течение полугода?

Алин сидела не оборачиваясь. Орган тихонько гудел, словно выдыхал из своих серебряных легких остатки чужеродных звуков.

— Я сержусь не на вас, — продолжал Эскарпи, — сержусь на себя. За тридцать четыре года я только раз ошибся в своем ученике, и этот ученик — вы, милая мисс Дельфен. Вы не живете музыкой, вы ведете войну с ней, пытаетесь ее поработить. Но сделать музыку своим оружием удавалось только таким, как Паганини... и то ненадолго. У вас же впереди только усталость.

«Зверь я все-таки, — огорченно журил себя профессор, застегивая добротное, непроницаемое для снега и ветра паль-

то. — Недаром молодежь прозвала меня «каприйским грифом». Испортил рождественский вечер и себе, и этой девочке, которая сейчас процветала бы в каком-нибудь частном пансионе, не усмотри я полгода назад в ней несуществующей искры божьей... Но надо, однако, поторапливаться, все, наверно, уже в сборе — и Уилбуры, и Фэрнсуорт, и Жаннет д'Ольвер; и Тереза уже воткнула свечи в рождественский пирог...»

Он выбрался на улицу. Одинокие фонари, уцелевшие с конца прошлого века, реденькой цепочкой окружали сквер. Вековые липы, ровесницы университета, утопали в снегу. У чугунных, под стать фонарям, перилец, где по утрам студенты оставляют свои велосипеды, было уже пусто, и только жалкая маленькая фигурка, словно закованная галка, сидела в самой дальней от фонарей углу, по-птичьей цепко устроившись на черной перекладинке. Если бы он был дилетантом, видит бог, какое невыразимое очарование испытывал бы он, глядя на эту девочку, исторгающую из органа стозвучие иерихонских труб!

— Пошли, — сказал он, со свойственной ему бесцеремонностью стаскивая ее с перил. — Пошли, пошли!

А потом мерцали свечи, и он играл на клавесине, и Норман Фэрнсуорт, этот чопорный ассистент с медицинского, про которого поговаривали в их кругу, что он на пороге какого-то сенсационного открытия, не сводил глаз с заплаканного личика мисс Дельфен, взирая на нее, как царь Мельхиор на вспышку сверхновой, вошедшей в историю христианства под поэтическим именем «звезды волхвов».

А когда рождественские каникулы закончились, фарфоровой андерсеновской пастушки на занятиях не обнаружилось; на традиционном январском клавесинном вечере не было и мистера Фэрнсуорта. На осторожный вопрос Терезы кто-то из гостей уже без всякой осторожности брякнул: «Этот Фэрни всегда был со странностями: бросить работу, так близкую к завершению, забрать все материалы и отказаться опубликовать хотя бы предварительные данные — это, знаете...» — «Ему предложили лучшие условия?» — «Отнюдь нет, миссис Эскарпи, мистер и миссис Фэрнсуорт удалились в какой-то крошечный городок Юго-Запада, чтобы провести там, по собственному выражению новобрачного, десять медовых лет». — «А кто такая, если не секрет, миссис Фэрнсуорт?» — «Дорогая Тереза, никто понятия не имеет!»

Профессор единственный догадывался, кто такая миссис Фэрнсуорт, и даже подумал, что им можно было бы позавидовать, если бы все это не было так... вне духа времени.

А ведь им и в самом деле можно было позавидовать. Крошечный городок с двухэтажными домами, чьи фасады по моде прошлого столетия были облицованы изразцовыми плитками или выложены узором из желтого и красного кирпича, казался игрушечным. Но вот боковые стены домов уже глухо вздымались вверх, и только под самой крышей, усугубляя сходство с первопоселенческим фортом, виднелись узкие проемы настоятельно глядящих окон. Алин прозвала этот городок «Сент-Уан», потому что все здесь было единственным: и перекресток с автоматическим светофором, и четырехэтажное здание венецианского (дурного) стиля, в нижнем этаже кото-

рого расположилось местное отделение «Ассоциации независимых банков», и автозаправочная станция, отнесенная на полмили от города, по вечерам отравляющая окрестности алым полыханием гигантских букв «СТАНДАРТ ОЙЛ». В хорошие вечера горожане отправлялись ужинать в мотель, так как в единственном ресторане, прилепившемся к единственному отелю без названия, неизбежно обосновался единственный в городе никудышный бармен, в то время как возле бензоколонки можно было вполне прилично провести часок-другой в обществе шоферов почтовых фургонов и третьеразрядных комми, но зато у единственного вполне пристойного бармена.

Все это было очень мило, так мило, что иногда Алин начинало казаться, будто этого городка до их свадьбы вообще не существовало, что он целиком спланирован и возведен любовью и фантазией ее Нормана, который никак не мог допустить, чтобы хоть какой-нибудь из его подарков молодой жене существовал в двух экземплярах. Все, что он творил для нее, рождалось единственным и неповторимым, и в Сент-Уане не оказалось не то чтобы двух одинаковых домов — там не было даже двух похожих собак, от громадного нечистопородного ньюфаундленда, на узаконенных основаниях побирающегося возле бензоколонки, до крошечного бассета — пестрого таксеныша с неправдоподобными ушами, висящими до самой земли. Сказочные замки Пьерро приходили на память Алин, когда она оглядывала опрятные кирпичные домики с южными плоскими крышами и несимметричными карнизами, для любого другого человека бывшими олицетворением будничности и захолустья. Она по-детски была готова верить, что все это возникло, повинувшись ритуальному мановению волшебной палочки, уж слишком гармонировал этот игрушечный городок с ее собственной кукольностью; и она действительно поверила бы, что Сент-Уан — творение ее заботливого, нежного Нормана, если бы только она могла объяснить себе одно: ЗАЧЕМ ее муж задумал и сотворил его.

Может быть, он искал семейного уединения? Но в Анн-Арборе они могли подыскать себе домик на окраине и жить так же замкнуто и размеренно, как и тут. И тогда Норману не пришлось бы расставаться со своей работой.

А может быть, его тяготила именно работа? Норман никогда не вспоминал о ней, но то немногое, что она услышала о Фэрнсуорте в далекий рождественский вечер, свидетельствовало о том, что ее супруг по меньшей мере незаурядный ученый. Да и здесь, в Сент-Уане, ей порой казалось, что настоящая работа Нормана протекает не в колледже, где он преподает биологию будущим фермерам, а в кабинете, куда она каждый день приносит целую кипу журналов и бандеролей. Да и живут они во всех отношениях не так, как остальные семьи школьных учителей.

А может быть, они переехали сюда ради маленького Рэя? Может быть, бесконечно нежный муж является и столь же заботливым отцом, и он выбрал для воспитания наследника этот крошечный инкубатор, где не бывает ни волнений, ни демонстраций, ни стрельбы на улицах, и полицейские которого сами не нюхали запаха горчичного газа?

Заботы заботами, но одно дело — разыскать и выписать для малыша ее старую няню, мисс Актон, а совсем другое — замуровать себя в этом захолустье. Норман любил сына, это было несомненно, но иногда Алин казалось, что это не любовь, а какое-то обостренное исследовательское любопытство. И она внушала себе, что ей это только кажется.

Да, трудно было представить себе, чтобы Норман сделал это только ради сына.

Итак, объяснения не находилось, и Алин оставалось только гнать от себя сомнения и жить как живется, и любить Нормана — а она любила его, потому что так уж вышло, судьба, и выбирать, как всегда, пришлось не ей. Она любила Нормана тихо и нетребовательно, без той неестественной для нее страсти, которую она когда-то пыталась вложить в музыку, любила так потому, что в своем чувстве ей ни за что не приходилось бороться. С тех пор как она встретилась с Норманом, ей все было дано, и все даром: и Сент-Уан, и собственный дом, и причудливый сад, и маленький удивительный Рей, и главное — такой огромный по сравнению с ней самой и такой нежный Норман...

Каким-то мудрым чутьем, свойственным мелким зверькам и маленьким женщинам, она чувствовала как скрытую опасность что-то неясное, двойственное и непостижимое, происходящее поблизости от нее, но та же мудрость подсказывала ей, что ее сил и ума будет недостаточно не только для того, чтобы бороться с этим неведомым, но и затем, чтобы это неведомое распознать и постичь.

И она гнала тревогу, позволяя себе быть счастливой, и, просяпаясь поутру, беззвучно молилась завещанному дедом доброму католическому боженьке, чтобы и сегодняшний день прошел так же, как и вчерашний, чтобы жизнь ее текла, не меняясь, не улучшаясь и даже не поддаваясь объяснению.

Одному она только не придавала значения — может быть, оттого, что происходящее слишком близко трудно поддается рассмотрению, — это тому, что с каждым наступающим днем ее маленький Рей становится на один день старше...

Фрэнк Кучирчук, десяти лет и семи месяцев от роду, четырех футов и полтора дюймов над уровнем моря (если стоять по щиколотку в луже), пятый ребенок и единственный сын в семье Антони Кучирчука, хозяина мотеля и арендатора автозаправочной станции, высунул язык и скосил глаза, приблизительно прикидывая объем неудержимо уменьшавшегося комочка жевательной резинки. За забором, который он старательно вытирал спиной, говорят, обитал некоторый отпрыск мужеского пола, но, во-первых, Фрэнк его ни разу и в глаза-то не видел, а во-вторых, папаша Фэрнсорт не производит впечатление родителя, способного дарить своего чада такой роскошью, как земляничный «гумми». Уж папашу-то он знал прекрасно — ходит, как белтсвиллский индюк или, на худой конец, вице-губернатор их занюханного штата, а сколько он стоит, собственно говоря? Преподает у Патти в колледже биологию или что-то вроде того, а Патти — вот дурица, даром что на четыре года старше Фрэнка — зовет его не иначе, как «душка Дилончик», или, сокращенно, ДД. И не одна она. Все

девчонки посходили с ума по новому учителю, едва по телеку прокрутили это поганое «Пограничное правосудие» с Джемсом Арнесом в главной роли. Конечно, на первый взгляд мистер Фэрнсурт ну просто вылитый шериф Дилон, только пятиконечной звезды и не хватает, но вот если бы он в жизни занялся хоть чем-нибудь стоящим — привел бы в порядок местную команду регби, что ли... А то шериф — лягушек режет! Тыфу.

Фрэнк, урлекшись, плюнул по-настоящему, и шарик жвачки с готовностью соскочил с его языка и покатился по мостовой. Эта черная корова Флоп, нюшка-побирушка, которому полагалось бы тереться у бензоколонки, почему-то оказался на другой стороне улицы и ринулся напрямик, полагая, что тут появилось чем поживиться. Взвизгнули тормоза, и двухцветный, как шоколадно-кремовая гастилка, «бьюик», вывернувший неизвестно из-за какого угла, чуть не вылетел на левую обочину.

— Но-но, — проворчал Фрэнк, усвоивший у себя на АЗС презрительную манеру обращения с машинами дешевле двух с половиной тысяч долларов, — понес копыта на сторону, «специал» вонючий...

— И вовсе не «специал», а «элек-тла», — произнес кто-то за его спиной, с видимым трудом выговаривая марку медленно уползающей машины. — Самая плоская «электла», и фалы косенькие, видал?

— «Фаль» — передразнил Фрэнк, и не по злобе, а от досады на себя — конечно, это была самая неподдельная «электра» с двумя парами фар, посаженными вразлет, словно глаза у миссис Ногуки. — Ты бы разговаривать подучился, чем лезть со своими замечаниями к человеку, который еще в пленках пил молоко пополам с бензином!

Фраза получилась столь великолепной, что Фрэнк даже головой покрутил — не услышал ли еще кто-нибудь. Но улица была пуста, за забором тоже притихли.

— Ладно, — примирительно проговорил Фрэнк, — лезь через забор, и если ты не будешь воображать, что знаешь машины лучше меня, то мы с тобой, так и быть, поладим, особенно если бы ты прихватил с собой пару «гумми».

За забором было тихо — никто не делал попыток последовать его любезному приглашению.

— Ну, чего ты там чешешься? — Когда челюсти Фрэнка хоть на минуту оказывались в состоянии вынужденного простоя, он испытывал постоянно растущее раздражение. — Боишься, что твой предок тебя застукает? Или не привык ходить пешком, прикажешь подать тебе голубой «саттелайт», как у последнего кандидата в губернаторы?

— Дешевка, — убежденно донеслось из-за забора.

— Ах ты, господи, — умилился Фрэнк, — я и запомнювал, что твои старики держат у себя на конюшне пару «эмпериалов» различных мастей — на хорошую и плохую погоду!

— Зачем? Здесь холош и наш «хино».

До чего рассудительный малый! Сразу видно, учителей сынок.

— Японская развалина, — бросил Фрэнк, хотя это и противоречило его собственному мнению. Но нельзя же было допустить, чтобы последнее слово осталось не за ним!

— А до этого у нас был «спол... сполт-фьюли». Я на снимках видел. Только не здесь.

— Врешь? — вырвалось у Фрэнка. На своем веку он вымыл уже не одну сотню машин, но такой — ни разу.

К машинам, которых ему еще не довелось обхаживать, у него сложилось какое-то странное, почтительно-ожидательное отношение, как к причастию, прикосновение которого к губам так мимолетно, так неуловимо, что и не знаешь, было оно или не было — руками-то не дотронешься! При всей набожности, которую Кучирчук-старший старался привить своим чадам, Фрэнк все-таки полагал, что если уж бог так добр, как говорит плешивый падре, то уж можно было бы причащать жевательными резинками. Но все его сомнения кончались именно этой низменно-материальной стороной. Зато как хорошо было ему известно состояние божественного благоговения! Как просто было для него подыскать синоним слову «святыня» — ведь это было не что иное, как ветровое стекло блистательного «эльдорадо». Слова «меркюри», «кадиллак», «свеча», «бампер» звучали для него сладостной молитвой, и однажды ему даже приснился чудной сон, настолько чудной, что он постеснялся даже кому-нибудь рассказать о нем. Ему пригрезилось, что в маленький холл их мотеля, где остановившиеся на ночь шоферы покуривают, глядя мимо телевизора, как-то бесшумно, словно по воздуху, вплывает отец Марви в полном облачении, словно это День благодарения или рождество, и в руках у него большой поднос, накрытый белым, и он протягивает это Фрэнку и торжественно возвещает: «Сим обручи сестру свою!» — и Фрэнк берет у него поднос, а тот ничего не весит, ну, совсем ничегошеньки, и оттого нести его просто страшно, и он видит, что на подносе на сложенном вчетверо вафельном полотенце не обручальное кольцо, а такой же величины золотая шина, и даже узор на ней виден; и он выходит из мотеля, и возле колонки с высокооктановым горючим видит Патти в белом мини и с веткой флердоранжа, а рядом с ней темно-синий новенький «мерлин», спортивный «эмбесседор» последнего выпуска, и у Фрэнка сердце заходится от удивления и счастья — подумать только, и с этой изумительной машиной он сейчас обручит свою сестру...

В своей коротенькой десятилетней жизни он никогда не испытывал такого возвышенного восторга, и только временами, когда в минуты затаженного безделья он представлял себе, что к отцовской станции сворачивает наконец сверкающий никелем «флитвуд» или «де Вилль», он вдруг непрошено припоминал свой сон, и даже не весь сон, а именно ощущение священнодействия, которое охватило его, когда он нес обручальное кольцо в виде золотой автомобильной шины, и он предчувствовал, что будет протирать ветровые стекла грядущего автомобильного чуда с не меньшим трепетом и благоговением.

Но пока — не судьба! — через его руки не прошло даже порядочного «крайслера», и он только завистливо и недоверчиво причмокивал, когда кто-то упоминал о вожденной машине. А сколько он их, наверное, пропустил, теряя драгоценные часы в этой проклятушей школе, из которой его сегодня в очередной раз и так некстати выставили! Слоняйся теперь по

заворкам и думать не смей заглянуть в лавочку, потому что кого-нибудь обязательно понесет мимо на заправку, и — «папаша Кучирчук, мне что-то показалось, что ваш малыш вместо уроков тоже решил подзаправиться...».

И тут он вспомнил о том, за забором.

— Эй, как там тебя, вылезай-ка побыстрее и дуй в лавочку, что на автобусной остановке. У меня как раз двадцать центов, возьмешь «гумми» на все. Четвертая доля твоя.

— Чего? — безмятежно спросили из-за стены.

— Не чего, а половина. Видишь со своей стороны куст жимолости? Нырять под него — там должна быть дырка.

— Мне нельзя. Не велят.

— Маменькин сыночек! (За стеной обиженно засопели.) Да ты погоди, не дуйся. Вот сбегает за резинкой, а потом мы ляжем в саду у сивого Крозиера, часик поболтаем, а потом я сведу тебя к своему старику. Ты ведь ни разу не был у нас на станции? Нет? А еще думаешь, что разбираешься в машинах! Сейчас подойдет почтовый фургон из Атчисона, и старик Шершел скажет, что в следующий раз обязательно надо будет сменить аккумулятор, это он каждый раз говорит, но, в сущности, ему все равно, даже если фургон развалится по винтикам, он вообще стопроцентный флегматик, это у него от прабабки, она была самая настоящая чикасоу, и он вместе с прабабкой держит какую-то засохшую пакость, говорит — белая примула, что первой расцветает в пустыне, и, кроме памяти о прабабке, ему вообще на весь свет наплевать; а еще попозже гуськом потянутся те, что приезжали в Независимый банк, это по большей части занюханые «коровыры», а часам к пяти потрохает эта желтозубая старуха Ногуки на своем шестидюймовом «пликапчике» за кормом для бройлеров, у нее ферма в восьми милях отсюда, но земля маловато, вот она и берет дохлятину на откорм, только доля ей не продержаться, это я тебе точно говорю; а еще, если повезет, может заглянуть наш дилер, что меняет машины; тут только держись, он и на «комет циклон» прикатить может...

Тут Фрэнк полерхнулся и замолк, и вовсе не оттого, что поток информации, который он наугад переправлял через забор, иссяк естественным образом, — ничего подобного: уж если Фрэнк заводился, то он мог говорить вот так, ни о чем, часа три без перерыва. Нет, младшего Кучирчука поразило то обстоятельство, что перед ним неизвестно откуда вдруг появился весьма ухоженный карапуз лет трех, не более, в вельветовом чистоплюйском костюмчике — и даже с кружевами! — и белых мокасничках за двенадцать долларов.

— Тебе чего? — осведомился без особого дружелюбия Фрэнк.

Карапуз продолжал безмолвно и благоговейно глядеть ему в рот.

— Да ты откуда взялся?

— Ты же сказал — дылка за кустом...

— «Дылка»... А я-то тут перед тобой распинаюсь! — Фрэнк безнадежно махнул рукой, намереваясь направиться на поиски более подходящего собеседника, как вдруг странная мысль остановила его.

— Пстой, а кто говорил про «электру»?
— Я... — Карапуз покраснел, словно его уличили в чем-то неблаговидном, и было видно, что он готов задать реву.
— Ты-и? — протянул Фрэнк. — А откуда такая информация — ты ж все время за забором!
— Не знаю...
— Ну а что вон там, возле угла?
— Мучной такой? «Фордик». Шестицилинд... линд... линдро-вый.
— Ну ты даешь! — искренне восхитился Фрэнк. — И ты так любую машину можешь — с одного взгляда?
— Не знаю.
— Во заладил — «не знаю!» А ты, видно, и взаправду вундеркинд, недаром все в городе говорят, что у одного папаши тут неподалеку сынок со странностями. Только что мы стоим? Айда к моему старику, да не худо завернуть все-таки и к Крозиеру, велосипед одолжить. А там... Кажется, у меня шевельнулась гениальная мысль. Пошли. Вообще-то у меня все



Рисунки В. ВАКИДИНА

мысли гениальные, ты к этому притерпишься, если продержишься возле меня подольше. Но эта...

Они свернули за угол. Фрэнк болтал без умолку и вместе с тем не спускал глаз со своего не совсем обыкновенного спутника. Чудной карапуз, ей-ей! От горшка два вершка, семени ножонками, как мясная такса, а вид совершенно независимый, словно весь город — его собственность вдоль и поперек. Правда, он иногда вдруг уставится на что-нибудь, как баран на Эмпайр Стэйт Билдинг — ну просто умора...

— Ну чего ты, в самом деле? Автобусная остановка, только и всего. Раньше она была у больницы святой Агаты, да вот уже два года, как ее перенесли. Да, так о чем же я? А, вот: мы приходим на станцию. И ты до поры до времени помалкиваешь. Я подхожу так, между прочим, к старику Шершелу, и он мне капает на свой паскудный аккумулятор, и я так небрежно ему кидаю: «К слову говоря, мы тут с моим новым другом поимели пятьдесят центов ни за что ни про что». А ты все молчишь — и в сторонке. Шершелу вроде бы на все плевать, кроме его покойной прабабки, но ведь человека кровно оскорбляет, что кто-то другой имеет полдоллара ни за что ни про что. Всем хочется. Но Шершел промолчит, а я опять так, невзначай: «Мы тут поспорили...» Ну что ты опять пялишься? Это вывеска «Ротари-клуба». Читать умеешь? Ах да, где тебе... Так вот, я и говорю Шеошелу: «Мы тут поспорили с одним типом, что мой новый друг назовет марку первой же встречной машины». Этого Шершел не потерпит, потому что вообще никому на свете не верит, и тогда мы с ним заложимся на пятьдесят центов. Вот тут уж твой черед — напрягись малость и не осрами меня. Я ведь вкладываю свой капитал... Господи, да куда же ты? Это просто машина для сбора касторовых бобов. А ты думал — передвижная клетка для обезьян?

— Пожалуй, мне лучше вернуться, — неожиданно изрек карапуз.

— Ну знаешь, — возмутился Фрэнк, — это все равно, что взять мои пятьдесят центов и швырнуть их в реку. Да что там — пятьдесят центов! Мы и пять долларов заработаем не моргнув глазом. Половина чистой прибыли — твоя. По рукам?

— Алин будет волноваться... — проговорил малыш.

— Нянька, что ли? Не повезло тебе, братец, у меня вот отродясь нянек не водилось. Ну да ничего, справимся. Чем раньше начинаешь воспитывать своих предков, тем самому легче. Да ты идешь или нет? Между прочим, на прошлой неделе к нам завернул синий «торонадо» — ну, не этого года, разумеется, у нас последних выпусков вообще не встретишь, но все-таки люкс, скажу я тебе: передние колеса ведущие, фары прикрываются щитками, под задним сиденьем — вентиляция, и карданный вал не торчит, пол гладенький, хоть спи на нем...

Фрэнк, разумеется, бессовестно врал — никакого «торонадо» он и в глаза не видел, просто подслушал восторженный щебет в каком-то трейлере, но в свои десять с небольшим лет он уже был неплохим психологом и сразу учуял, на какую приманку этот вундеркинд клюнет безотказно и пойдет за ним хоть до самого Канзас-Сити.

— Да, парень, а зовут-то тебя как?..

...Алин обогнула площадку для лаун-тенниса и вышла к новенькому, еще пахнущему свежей доской балагану, в котором вскоре должен был открыться кегельбан — дешевенький, без всякой там новомодной электроники и автоматического кеглеустанавливателя. У входа, постелив на траву газету и прислонившись друг к другу спиной, сидели двое — мальчик и пожилой мужчина. У них были одинаковые лиловые бумажные штаны, башмаки одинакового размера, и оба с одинаковой степенью унылости жевали бутерброды.

«Пришли наниматься, и им отказали», — подумала Алин. Каждый раз, проходя мимо чьей-то нищеты и неустроенности, она словно принимала сигнал тревоги — крошечный невидимый будильник будоражил сонную заводь ее идиллического мирка, напоминая о том, что и в этом уютном, благоустроенном доме, где жили они с Норманом, тоже не все благополучно.

Что-то в нем НЕ ТАК.

Она опустила голову, заставляя себя не оборачиваться на бродяг, и быстро перешла на другую сторону улицы. Кто-то затормозил прямо перед ней и, опустив стекло, вежливо поздоровался — она ответила смущенно и виновато. Ах, как прав Норман, что не позволял ей водить машину! Ведь для этого надо как минимум уметь зорко глядеть по сторонам, а она, вот как сейчас, например, чуть расстроилась — и сразу же голову под крыло. Норман, как всегда, бесконечно заботлив, Норман, как всегда, бесконечно прав. Если он что-нибудь и отнимает у нее, то ведь это, как правило, такая малость, которая не может ее по-настоящему огорчить. Водить машину? Но это ей не только не нравилось, даже пугало. Заниматься хозяйством? Но ее больше устраивало, если это брала на себя мисс Актон. Путешествия, которые ей обещал Норман еще в Анн-Арборе? Ну что же, это действительно было заманчиво — пролететь над красно-бурой преисподней Большого Каньона, оставить четки у подножия потрескавшегося деревянного распятия, раскрашенного в неистовые цвета мексиканского пончо; бродить по заповедным зарослям настоящего типчака и сухой бизоньей травы, из которых подымается белоснежная ограда церкви Ксаверия Бакского, такой крошечной на фоне дымчатых гор, что издали она может показаться просто белым камешком, который бросил, убегая от людоеда, Мальчик с пальчик... Норман пообещал ей все это — и Норман не разрешил ей этого, когда узнал, что она должна стать матерью. Наверное, он любил бы ее еще сильнее, если бы она была ростом с Дюймовочку и он мог бы поселить ее в домике-шкатулке и, уходя в колледж, запирать в свой сейф...

Алин старательно проверила, защелкнулся ли за ней автоматический замок садовой калитки (опять же категорическое требование Нормана), и, не поднимаясь к себе, прошла на половину Рея. В спальне его не было, в учебной комнате, в холле, в ванной тоже.

— Мисс Актон, где мальчик?

— В саду. До обеда еще пятнадцать минут.

Она подошла к окну, вернее, к застекленной стене, выходящей в сад. Рей где-то там, скорее всего на своем излюблен-

ном месте под тюльпановым деревом, где в самодельном многоэтажном гараже обитает целый сонм игрушечных машин всех марок и калибров. Как это ни было печально для Алин, никаких иных игрушек Рей не признавал.

Но ведь Норман хотел другого. Вот «Смоки, или История ковбойской лошадки», вот прелестный «Орленок» Марджори Роулинг, вот пересказ одного из чосеровских рассказов — «Шантеклер и лиса»...

Все это купил и выписал Норман, полагавший, что привязанность к животным — самый прямой путь в большую биологию, которую он хотел, как царство, завещать своему наследнику. Но, может быть, надо было начинать не с книжек, а с живого щенка?

Алин сдвинула в сторону легко подавшауюся раму, позвала негромко: «Рей!» В саду затрещало. Легкие шаги по ступеням веранды. Хлопок двери.

— Рей?.. Господи, что с тобой произошло, мальчик мой, золотко мое, солнышко...

Ее поразил не костюмчик сына, выглядевший так, словно Рею вздумалось проползти милю на животе, изображая индейского разведчика. И даже не слабый запах бензина, который она уловила сразу же, так несовместим он был с кондиционированным воздухом детской.

С чуткостью, которую она сама старалась в себе подавить, Алин разом поняла, с какой тоской и безнадежным смирением переступил ее сын порог детской. Так возвращаются откуда-то издалека, из края запретной, неприкасаемой радости, в дом, который давит тоской, накопленной десятилетиями.

— Где ты был, маленький мой?..

...весь мир поделен на две четкие половины, как крутое яйцо — на белок и желток. Одна половина холодна, безразлична ему и незнакома — это половина, вершиной и главой которой является бесцветная и пресная, как куриное филе, Мисактн.

Другая половина трепетная, призывно ожидающая его узнавания, и достаточно слова, жеста, мимолетного запаха, и он чувствует, что уже когда-то он владел всем этим; это он любил или ненавидел, и мир, уже когда-то принадлежавший его сердцу, был миром Алин...

— Рей, изволь ответить, где ты гулял?

— Там, Мисактн.

...огромные четырехосные прицепы с продольными белыми и серебряными полосами и фантастическими эмблемами; пыльные облупившиеся подножки как раз на уровне его плеча; тупорылые кабины, где на тисненем, всегда теплом сиденье — занюханные журнальчики, жестянка с бутербродами и пестрая россыпь «холлмарк кардс», а сзади — таящаяся в полумраке пластикового полога подвесная койка, на которой должны сниться сны, пропахшие бензином. Как это странно: ни одно воспоминание не волнует так сильно, как знакомый запах: ни вид этих неуклюжих гигантов, плавно и нехотя трогających с места, ни шум моторов, монотонный и пофыркивающий, отдающий звериным дружелюбием... От всего этого хочется только счастливо и глупо смеяться. Но вот когда вдыхаешь

давно позабытый запах да еще прикрываешь глаза, тут вдруг земля под ногами начинает качаться туда-сюда, и щиплет в горле, и от сладкой щемящей духоты в груди так и тянет постыдно и беспричинно зареветь...

— Я тебя спрашиваю в десятый раз: что ты делал?

— Гулял, Мисактн.

...этот фургонщик Шершел да и сам Фрэнк были из холодной половины, ранее ему незнакомые, и он не слушал, о чем они лениво и словно нехотя переругивались; он только смотрел вокруг себя, и, когда Фрэнк наконец обратился к нему: «Ну скажи, Ренни, ну скажи ему, заскорузлому пню, что это сейчас отваливает от колонки!» — он коротко бросил им: «Де сото», и тут же испугался, что его роль, собственно говоря, сыграна, и сейчас Фрэнк погонит его домой; но Шершел к ним привязался, и его опять спросили, и на этот раз к ним подрулил не какой-нибудь обшарпанный «фордик», а самый настоящий «бельведер» — шикарный, чуть поношенный «плимут» цвета индюшиного гребешка, и Рей вздохнул выложил все, что он знал по этому поводу: и про два четырехкамерных карбюратора, и про двигатель «стрит хэми», который, несомненно, мощнее «хэми чарджера», и про двери, автоматически запирающиеся, как только начинает работать мотор, и Шершел слушал, раскрыв непомерный рот с лиловыми сухими губами, а потом он что-то увидел из своей высокой кабины и закричал как сумасшедший: «Пять долларов! Идешь на пять долларов?» — и швырнул вниз шляпу, так что лента на ней лопнула и старой змеиной шкуркой осталась на бетоне подъездной дорожки, и Фрэнк, по причине неимения собственной, поднял Шершелову шляпу и тоже швырнул ее оземь и крикнул: «На пять так на пять!» — да так отчаянно, что сразу стало ясно, что никаких пяти долларов у него сейчас нет, хотя он и плел всю дорогу до станции, что помогает отцу по вечерам мыть машины, за что отец исправно платит ему три с половиной доллара в неделю. Но все это было не важно, и Рей этого по-настоящему уже и не слышал, потому что к масляному насосу, немилосердно визжа тормозами, ползло настоящее чудо, и Фрэнк в сердцах закричал: «А, так и так тебя и твою вонючую почту, и твою вонючую бабу, и твою вонючее сено, я же должен был знать, что по двадцатым числам сюда является такой-растакый ниггер, чтоб его...» Но все это проходило уже мимо Рея, потому что он увидел СВОЮ МАШИНУ, первую свою машину...

— Ты ответишь мне или нет, где ты гулял, в конце концов?

— Там, Мисактн.

...это же был его собственный «хорвестер», только крытый новеньким брезентом, — шестицилиндровая армейская коняга, едва-едва выжимавшая жалких пятьдесят миль в час, эдакий паноптикум на трех ведущих осях. Он узнал его с первого взгляда, эти торчащие сквозь брезент ребра, словно у больной лошади, которая сделала непомерно глубокий выдох; этот нелепо выдвинутый вперед бампер, невольно воскрешающий в памяти пресловутую нижнюю губу царственных дегенератов габсбургской династии; запасное колесо, притулившееся где-то на закривке между кузовом и кабиной... Вот только не было

нафарных сеток, и это заставило его вздрогнуть и поморщиться, словно он встретился взглядом с альбиносом, у которого нет или не видно ресниц. Эта развалина была его первой машиной, а потом был еще «додж», юркий телефонопроводчик с лесенкой с левого борта, а потом был и еще один «додж», который все в его заводе звали «заячья губа», потому что радиатор у него выглядел так, словно по нему со всей силы дали ребром ладони, но все это было уже не в счет, ведь и после демобилизации у него были машины, и притом собственные, но «хорвестер» был первой...

— Ты будешь отвечать, негодный мальчик?

— Мисактн, — проговорил мальчик с ангельским смирением, — вы помните портрет генерала Лафайета на вздыбленной лошади?

Мисс Актон оторопело и польщенно замолкла.

— Вы сейчас удивительно похожи... на эту лошадь.

— Я заставила его извиниться, Норман, но...

— Прекрасно! Я сам чертовски не любил извиняться, но это необходимо для привития манер. А что же «но»?

— Я не могу понять, где мальчик видел этот портрет. У тебя в кабинете висит только эта жуткая «Слепая птица» Грейвза, а в холле не менее неприятный Шагал.

— Глупости, Алин. Ты же знаешь, что наш сын необыкновенно восприимчив. Достаточно реплики по радио или забытого журнала... А копию Шагала, если он так тебе неприятен, я сегодня же сниму. Я как-то не подумал о том, что сочетание красного с зеленым редко употребляется в автомобильной окраске...

Это было их маленькой семейной игрой: Норман подтрунивал над Алин, представляя дело в таком свете, словно все ее восприятие искусства преломляется исключительно через призму дедовских каталогов автомобильных лаков; по традиции, ей полагалось отшутиться, напомним ему о предпочтении, которое он последнее время оказывал транзисторному приемнику перед настоящим органом; но сегодня — виноваты ли были одинаковые башмаки на бродягах или вызывающее упрямство сына — традиционная шутка Нормана вдруг показалась ей такой неуклюжей и неуместной.

— Почему ты не можешь изжить свою неприязнь к профессии моего деда? — как можно мягче проговорила Алин. — Или тебя шокирует, что наш мальчик так много возится с игрушечными машинами, вместо того чтобы читать про козлят и орлят?

Озадаченность мужа была самой неподдельной:

— Неприязнь? Тебе так кажется, дорогая? Вот тебе и на... Да я обожаю автомобили с детства, как это делает каждый второй мальчишка. Разве я никогда не рассказывал тебе об этом? Странно. Ты знаешь, до войны мы с матерью жили очень туго, о таких самоходных моделях, какими набита комната Рея, мне и мечтать не приходилось. Да и о собственной машине даже в самом отдаленном будущем тоже. А потом война, меня призвали. Мое счастье, что у нас в средней школе были

инспекторские курсы, на которых я, разумеется, всегда был первым. И надо же — на своего инспектора я и налетел в распределительном пункте. У него, по-видимому, были весьма обширные связи, которыми он пошаливал, потому что он просто так, без всякой моей просьбы, направил меня во вспомогательную роту, которая околачивалась на западном побережье, и вот тогда я и получил свою первую машину. Я не буду тебе рассказывать о ней — тебе она показалась бы просто допотопным монстром. Но, как ни странно, ее я запомнил гораздо лучше, чем ту девушку, которую впервые в жизни поцеловал. Вероятно, машина была для меня счастьем, а девушка нет. К тому же машины я любил все без исключения, а женщина, как выяснилось впоследствии, была нужна мне одна-единственная, и притом на всю жизнь.

— Бедный мой рыцарь Тогенбург, — сказала Алин, — не хочешь ли ты признаться, что твой монотеизм начал тебя несколько тяготить?

— Однако сколько за один вечер каверзных вопросов! Моя маленькая жена, кажется, решила сыграть в старинную игру, которая называется «правда и только правда»... Меня только что нарекли рыцарем, и я просто вынужден принять вызов. Итак, в своей низменной страсти к автомобилям я уже признался. Что касается первой девушки — разве я мог забыть ее, Алин, если это была не ты?

— Значит, если бы не я, твоя память была бы совершенно чиста от женских образов?

— Как плащ крестоносца. Ты знаешь, меня от всех наших женщин всегда отталкивала их неперемнная деловитость. Говорят, в Японии и в России еще можно встретить воплощенную женственность, но здесь, да еще в послевоенные годы — бр-р-р... До чего же все они были деловиты!

— Я никогда не замечала у тебя антипатии к энергичным женщинам.

— Потому что они для меня просто не существовали. Энергичная женщина — это все равно что женщина с бородой. Для меня, разумеется.

Алин негромко рассмеялась. И маленький Рей с его отчужденным, недетским взглядом, и неприкаянные бродяги в лиловых сиротских штанах — все они очутились в недостижимом далеке, отнесенные туда одной улыбкой Нормана.

— Только такая, как ты, только хрупкая, как ты, только беззащитная, как ты, только целиком, от ресниц до кончиков туфель, моя, как ты.

И тогда вдруг из зачарованного далека возвратился черноглазый мальчик с упрямым очерком отцовского рта.

— Разве я принадлежу только тебе? — невольно вырвалось у Алин. — А Рей?

— Рей — это тоже я, — как-то быстро и чуть-чуть досадливо проговорил Норман, как будто напоминал ей азбучную истину, и Алин пожалела о своем вопросе, потому что минуту назад перед нею был Норман, встретивший ее на вечере у профессора Эскарпи, и вот она сама отодвинула этот медовый рождественский вечер, озаренный шестью свечами на клавесине, в далекое прошлое — на целых пять супружеских лет.

— Моя маленькая жена и повелительница желает продолжить игру? — спросил Норман, уже основательно женатый, солидный, галантно развлекающийся Норман.

— С меня довольно, — кротко вздохнула она. — За четверть часа я узнала все мечты твоей воинственной и романтической юности.

— Как же, — отозвался он в тон ей, — все! Ты еще не слыхала о самой заветной, самой романтической... Пять лет скрывал.

У нее вдруг дрогнуло сердце: она испугалась, что этот шуточный разговор вдруг приоткроет завесу их несомненно существующей тайны, и она, все так же заставляя себя кротко и лукаво улыбаться, спросила:

— А это правда? Не хочешь ли ты просто позабавить меня очередной шуткой, дорогой?

Или у него сегодня появилось странное желание высказаться до конца, или он просто не заметил испуганных глаз жены и ее неловкой попытки обратить все в шутку. Тон его был безмятежен, и он продолжал как ни в чем не бывало:

— Все это правда и только правда... Но не всякая правда совместима с достоинством магистра биологии.

— А, — подхватила она, — так ты мечтал приобрести яхту и заняться контрабандой черных рабынь... или нет. Наркотики — ведь это современнее, не так ли?

— Фи, Алин, — поморщился Норман. — Тебя прощает только то, что моя мечта и в самом деле кажется мне сейчас несколько... как бы определить...

— Преступной?

— Хуже.

— Противоречащей твоей респектабельности?

— Еще хуже — просто убогой. Потому-то я и не делился ею с тобой. Видишь ли, всю свою юность я сладко грезил о том, чтобы иметь свою собственную... бензоколонку.

— Боже праведный!

И снова он не обратил внимания, сколько облегчения было в этом невольном возгласе.

— Что делать, Алин. Это действительно было для меня недостижимой мечтой. Моя мать умерла в год окончания войны, и после армии мне и вовсе было податься некуда. И тут вдруг объявился отец. Мать однажды проговорила мне, что он не может простить ей какого-то греха, не измены, нет, она... в чем-то она ему отказала, не помогла ему, не поняла. Я помню ее слова: «Я не могла слепо повиноваться ему в том единственном случае, когда требовалась бесконечная вера и отречение от самого дорогого...» Я не совсем понимаю, о чем она говорила, но предполагаю, что это как-то было связано с моим рождением, вероятно, отец хотел иметь ребенка гораздо позже, ведь они с матерью и обвенчаны-то не были. Так или иначе, но мать предупредила меня, что он и палец о палец не ударит, чтобы помочь мне, фактически он не имел ко мне ни малейшего отношения, даже не видел ни разу в жизни. Я думал, он и вообще-то не знает о моем существовании, как вдруг в сорок седьмом он является ко мне. Следил, оказывается, издали. Растроганно признал свою вину перед матерью, но опять так туманно, неопределенно... Предложил мне пе-

реехать к нему, но на таких жестких условиях... Впрочем, дорогая, это уже не имеет никакого отношения к мечтам о бензоколонке.

— Норман, — проговорила она просительно, — Норман, ты же никогда не рассказывал мне о своей молодости!

— Малышка моя, грустно рассказывать о том, как кончается твоя свободная жизнь. Так вот, с тех пор я уже не принадлежал самому себе. Видишь ли, отец так и не сколотил себе прочного гнезда — какие-то случайные женщины, да и то так, в перерывах между работой, а работал он адски. Наследников у него не было, друзей и подавно. И вот он предложил мне переехать к нему в Анн-Арбор с категорическим условием: закончить университет и работать в ЕГО лаборатории над ЕГО темой. Если же я не закончу университет или сменю лабораторию, то наследство поступает в распоряжение ученого совета факультета.

— Но ведь мы же оставили Анн-Арбор?..

— Завещание сохраняло силу в течение пяти лет после смерти отца, и, когда я встретил тебя, эти пять лет уже истекли. По всей вероятности, он знал по себе, что, втянувшись в эту работу, оставить ее по доброй воле уже невозможно. Невозможно даже отказаться от разработки его идеи, узнав, в чем состоит ее суть...

— Это так интересно?

— Интересно? Не то слово. Абсолютно не то. Это... это все равно, что получить кольцо Нибелунга и не воспользоваться его волшебной силой. Отказаться от такого искушения невозможно. И я не отказался. Я унаследовал лабораторию отца и работал над его темой, тем более что он пошел по неправильному пути и уже считал, что добился положительного результата, в то время как мне еще пришлось долгие годы биться, пока...

— Пока?..

— Пока я не встретил тебя, мое маленькое сокровище, которое мне дороже всего золота мира.

Она подняла на него глаза. Вот когда пришел миг потребовать: «Правду и только правду!» — но что последует за этой правдой?

Алин подошла к мужу, положила ему руки на плечи. И приподнялась на носки, как девочка, заглядывающая в глаза отцу или брату, простодушная, доверчивая:

— А хочешь, дорогой, мы сейчас купим тебе бензоколонку? Ведь у нас хватит на это денег, не так ли?

— Ох, Алин, малышка моя глупенькая! Разве ты не знаешь, что в каждой мечте самое страшное то, что рано или поздно она исполняется! Так что бережем мою наивную мечту от посягательства реальностью...

Алин механически перелистывала глянцевитые, богато иллюстрированные страницы. Вот уже сколько дней, недель, месяцев прошло с того странного, опасного разговора, когда они так близко подошли к потаенной дверце и все-таки не произнесли «сезам, откройся!»... Прошла целая весна, и лето, и осень, а Рей все дальше уходил в какой-то свой, особенный мир, словно

и у него была тайна, которую он свято оберегал от посторонних. Алин жадно всматривалась в его худенькое лицо — галчонок, превращенный в человечка неумелым волшебником. Глаза, и волосы, и ресницы, и все черты лица — это от Нормана; от нее только хрупкость, кукольная прозрачность кожи. Но вот от кого этот взгляд: терпеливо-страдальческий — на мисс Актон, непримиримый — на отца, затаенно-обиженный — на нее?..

— Рей, мальчик мой, посиди спокойно хотя бы минутку, мамочка просит тебя. Посиди и послушай, я ведь все лето пытаюсь прочесть тебе эту книжку. Разве тебе не нравится, когда мамочка читает?

Она давно заметила, что звук ее голоса привораживает его. Он смотрит на нее зачарованно, но временами ей начинает казаться, что его совершенно не интересует смысл ее слов, а воспринимает он только музыку звуков. И она, не прерывая монотонного журчания своего голоса, чтобы не разрушить эту едва осязаемую ниточку между нею и сыном, торопливо открывает «Шантеклера»:

— Ты будешь сидеть тихо-тихо, как мышка, как вечерняя голубая стрекоза на стебельке осоки. Хорошо? А мамочка тебе почитает. Ну вот: «Другого такого певца не сыскать было по всей стране. Гребень у него зубчатый, как стены замка, был краснее самого яркого коралла. Блестящий клюв был черен как смоль, лапы и шпоры голубые, коготки белее снега, а гладкие перья отливали золотом...» Рей, мальчик мой, ты услышал хоть что-нибудь из того, что я сейчас тебе прочитала?

Задумчивый взгляд куда-то вдаль, за окно. За деревьями и забором не видно улицы, но отчетливо слышен гул мощного мотора удаляющейся машины.

— Рей, мне придется пожаловаться папе. Он выписывает тебе столько книг, а ты даже не заглядываешь в них. Папа в твоём возрасте так любил животных, а ты даже не хочешь о них слушать! Вот последняя из серии «книжек-зверюшек» — ну разве не прелесть? Такой белоснежный крольчонок, и ты узнаешь о нем столько интересного! Ну обрадуем же папочку, хорошо, Рей? Слушай же меня: «История крольчонка Ролли, который очень хорошо помнил все, чему училась его мама...»

Вообще-то странно, что Норман купил сыну такую книжку. Мальчик явно вырос из этих складных зверюшек, начиненных примитивно-назидательным текстом. Рожица у крольчонка уморительная но вот заглавие на редкость растянуто, и есть в нем что-то неправильное. «Училась его мама». Наверное, опечатка — надо читать: «учила». Но все равно, все равно — раз уж Норман выписал эту книжку, надо, чтобы малыш прослушал историю уморительного крольчонка с начала и до конца.

— «Жил да был крольчонок Ролли со своими пятью братьями и сестрами, которые весь день прыгали и играли, в то время как он послушно сидел возле своей мамы. И надо вам сказать, что мама у него была не простая, а дрессированная крольчиха, раньше на нее надевали красный фартучек, и она выступала в бродячем цирке — быстро-быстро перебирала лапками и крутила пестрый барабан, насаженный на спицу». Ты опять не слушаешь, Рей?

— Я знаю, что там дальше. Неинтересно.

— Деточка моя, не нужно говорить неправду. Я только что распечатала бандероль с книгами, так что никто не мог тебе этого прочитать раньше меня.

— Сейчас припомню... Потом эту крольчиху продали трактирщику... Это такой джентльмен, который жарит кроликов. Ну он ее и зажарил. Неинтересно. Да и потом... вот сейчас я вспомню...

Боже мой, какие жуткие истории попадают, и нередко, в этих симпатичных книжонках с ангельскими иллюстрациями! Дед никогда не давал ей подобных вещей. Кто это написал? Женщина? Похоже, Фэрри С. Уорт. Ох уж эти новомодные течения в детской литературе!

— Рей, деточка моя, дай мне эту книжку. Мы не будем сегодня дальше читать. Лучше я... Норман? Что случилось, Норман?!

Только сейчас, увидев Нормана на пороге детской, она поняла, что, в сущности, ни разу не сталкивалась с ним в минуты гнева. С ней он всегда был безупречно ровен, очень редко суров; но взбешенным она видела его впервые.

— Выйди, Алин.

— Норман, что ты? Что ты хочешь делать?

— Выйди, Алин. У нас с Реем будет серьезный разговор.

— Я не могу, Норман, я боюсь, он еще совсем крошка, а ты не владеешь собой...

— Алин!!!

Она выбежала и затворила за собой дверь. В детской молчали — вероятно, Норман ждал, когда удалятся ее шаги. Она, нарочито топя, пробежала по коридору, так что по всему их дому разнеслось цоканье ее острых каблучков, а потом скинула туфельки и в одних чулках прокралась обратно к дверям детской.

К ее удивлению, голос Нормана звучал совершенно спокойно, и с тем же недетским спокойствием отвечал ее сын.

«Ты заключал пари?» — «Нет, отец». — «Ах да, пари заключал твой не по годам деловитый компаньон — Фрэнк, если я не ошибаюсь? И сколько же он давал тебе?» — «Дети не должны иметь своих денег». — «Однако! Это твое собственное убеждение?» — «Не знаю, как не знаю и многого другого. А там я бывал не из-за денег, отец». — «Тебя привлекало общество этого пройдохи, этого подонка, этого...» — «Он мой друг. Он получил худшее воспитание, но в нравственном отношении он лучше меня. Честнее». — «В нравственном отношении... Нет, это уж чересчур! Мало того, что ты участвовал в мелких, грязненьких махинациях — это я еще мог бы понять, мальчишки в твоем возрасте... или немного постарше пытаются проявить деловую самостоятельность, и не всегда удачно. Но зачем тебе, моему сыну, понадобилось влезать в эту пакость, устраивать вокруг себя и своего, с позволения сказать, предприятия такую рекламу, что о тебе уже говорит полгорода, а скоро заговорит и полстраны?» — «Я ни о чем никому не рассказывал, отец». — «А вот этот снимок в «Ньюсуик» и дурацкая надпись — «Будущий чемпион детских гонок в Акроне», а?» — «Я поздно догадался о том, что это репортеры.



Я ведь встретился с ними впервые в жизни. — «А эти шведы, которые раззвонили на весь штат, что какой-то грудной младенец в нашем городе берет табличные интегралы по двадцати центов за штуку?» — «Я повторяю, отец, что деньги меня не интересовали. Мне нравилось бывать у Кучирчуков, и я делал все, чтобы Фрэнк возил меня к себе на станцию». — «Ну так это было сегодня в последний раз!» — «Нет, отец». — «То есть как это нет? С завтрашнего дня к тебе будет приходить мисс Партридж и обучать тебя чистописанию. Остальными предметами я займусь с тобой сам. Ты ведь не раз уже лазал по всевозможным учебникам, не так ли? И запоминал все с первого же раза... Я знаю это. Но во всем требуется система, и не следует читать курс высшей математики прежде таблицы умножения. Так что мы теперь будем заниматься ежедневно, и на всяких Фрэнков с их вонючими бензоколонками у тебя просто не останется времени. Ты понял?» — «Понял, отец. Но я все равно наймусь на АЗС. Фрэнк меня возьмет, как только подрастет и отец сделает его своим компаньоном». — «Выкинь из головы этот бред! Ты будешь заниматься тем, чем я тебе прикажу!» — «Я буду заниматься машинами, отец». — «А я тебе сказал!..» — «Оставим этот разговор, отец. Я люблю машины. Когда я слышу их шум, когда я дотрагиваюсь до них руками... я не могу сказать, что со мной происходит. Да ты и не поймешь, если я буду объяснять это простыми человеческими словами. А вот Фрэнк меня понимает. Он знает это ощущение, он говорит — это все равно что нести на белом полотенце вол-

шебное кольцо...» — «Что ты сказал? Повтори, что ты сказал?!» — «Я уже говорил тебе, что ты меня не поймешь, отец. Кольцо — это счастье. Счастье вообще. Фрэнк видел это во сне, а вот я просто знаю. Знаю, какое это счастье и могущество — владеть кольцом...» — «Что ты наболтал своему Фрэнку о кольце, негодяй? Что именно ты ему рассказал? Да отвечай же!» — «Я? Ничего, отец». — «Что ты говорил этому ублюдку, повтори мне слово в слово, я требую, я приказываю тебе!» — «Я не помню...» — «Я те-бе при-к-а-зы-ва-ю!!!»

В комнате что-то упало, покатилося, задрезало — Алин схватилась за дверную ручку, но в этот миг дверь распахнулась, отбросив Алину к стене и заслонив ее, так что Норман, вырвавшийся из детской с яростью белого яванского носорога, даже не заметил жены.

— Мисс Актон! — загремел его голос где-то в холле. — Мы уезжаем, мисс Актон! Собирайте вещи!

Вот и все. Вот и кончился этот игрушечный Сент-Уан с его только что открывшимся кегельбаном, с его рыжей пожарной машиной, катающей детей в День Независимости; с его новым магазином, выгладившим несколько чужеродно среди двухэтажных домиков, которые, казалось, были сложены не из кирпича, а из сливочной и шоколадной пастилки, с этим чудо-магазином, где можно купить все, от теплого «гамбургера» до пары безопасных рогов из стекловолокна за тридцать долларов, которые теперь прикрепляют бычкам во время родео; кончился Сент-Уан с его выставками детских рисунков, прикрепленных зажимами прямо к веревке, натянутой напротив «Ротари-клуба»; Сент-Уан с его стриженным наголо мулатом, чистившим ботинки всего за двадцать центов и неизменно наклеивавшим на коробки гуталина вырезанные из журнала цветные головки Зоры Ламперт и Барбары Харрис; Сент-Уан с его порядком-таки запущенным парком, куда валом валят во время гуляний, но в другие дни редко услышишь звон подковы, удачно заброшенной на колышек, или склеротический скрип шестнадцатиместной карусели; Сент-Уан с его буками, и платанами, и тюльпановыми деревьями, и кремовыми крупными соцветиями фальшивого индиго...

— Мы уезжаем. Разве ты не слыхала?

Алин вздрогнула и оглянулась по сторонам — так она была уверена, что это голос Нормана. Но это был Рей. Он смотрел на нее, прижавшуюся к стене, в одних чулках, с детской книжкой про белого крольчонка, смотрел так, как, наверное, смотрят на священника, по долгу своего сана присутствующего на казни: ты здесь, но ведь ты даже ничего не пытаешься сделать.

— Не вели брать моих игрушек. Пусть остаются.

— Я поговорю с папой, Рей...

— Нет. Не надо.

Почему он никогда не скажет — «не надо, мама»?

Она побрела к себе в комнату, где уже стояли внесенные всеуспевающей мисс Актон чемоданы. Открыла один из них и положила туда первое, что попало под руку, — книжку в переплете, вырезанном по форме крольчонка. И вдруг заплакала, горько и по-детски, как уже давно не плакал ее сын.

— Ты отпустил мальчика на весь вечер?

— Да, Алин, и привыкай к тому, что он уже не мальчик, — для своих тринадцати лет он необыкновенно серьезен. Пусть развлечется немного.

— Но эти студенческие вечеринки, джаз, распущенные девицы...

— Главное, что в нашем университете пока нет студенческих демонстраций и беспорядков, а что касается распущенных девиц, то и в более зрелом возрасте я не обращал на них никакого внимания.

— Но ведь ты и он — разные люди, Норман.

— Не совсем и не во всем, Алин. Во всяком случае, мне кажется, что Рей принадлежит к тому типу мужчин, для которых в жизни существует только одна женщина. Как моя мать для моего отца. Как ты для меня. Вероятно, это у Фэрнсуортов в крови. Но я не хочу, чтобы он рос полным затворником, а то ведь он и не посмеет подойти к этой своей единственной женщине, когда она наконец попадетсЯ ему на пути.

— До сих пор мне казалось, что ты намеренно растишь его таким нелюдимым.

— Не говори глупости, Алин. Ты знаешь, что я оберегал ребенка только от нездоровых сенсаций и дурных влияний. Ты ведь читала, какую шумиху поднимают время от времени вокруг какого-нибудь вундеркинда? А ведь кончат университет в тринадцать лет — весьма соблазнительная наживка для журналистов. С каждым годом я прикладываю все больше и больше усилий, чтобы припрятать от них Рея...

— Поэтому я и хотела бы, чтобы сегодня за столом мы сидели втроем.

— Ну, сегодня все-таки не рождество.

Она пожала плечами. Да, сегодня всего лишь День благодарения, и мальчик может провести его в кругу друзей. Хотя какие там друзья? Все его однокурсники старше его примерно на десять лет и пригласили его, по-видимому, только ради забавы. Через полчаса эта забава всем надоест, о нем забудут, он потихоньку выберется из-за стола и будет бродить по городку, чтобы скоротать несколько часов и не являться ей на глаза постыдно рано. Городок этот чем-то напоминает Анн-Арбор — может быть, своим университетским парком, а может быть, старыми кирпичными корпусами, возведенными в конце прошлого века. Но этот Атенс чем-то неприветливее. А может быть, просто тем, что она сама стала на полтора десятка лет старше, а вокруг шумит никогда не стареющая студенческая орава?

Алин зажгла свечу в массивном дедовском подсвечнике, неизменно украшавшем их праздничные столы. Подошла к зеркалу. Падающий сзади неяркий свет превратил прядки ее тонких волос в серебряный парик, которого только и недоставало для полного сходства с фарфоровой пастушкой. Нет, она не постарела. Просто до изумления не постарела. Трудно даже представить, что она мать Рея. Рядом они кажутся братом и сестрой. Может быть, именно поэтому мальчик держится с нею так неловко? Собственно говоря, она никогда не была умелой, чуткой матерью, во всем руководящей своим сыном, но ведь

в том, что так получилось, были виноваты все трое — и она, и Рей, и больше всего Норман.

В их благополучном, уважаемом доме каждый живет в одиночку. Мальчику, конечно, труднее всех, но он унаследовал от отца гордую замкнутость и не жалуется даже матери. Ни разу за всю свою тринадцатилетнюю жизнь. Хотя, может быть, он просто не знает, на что пожаловаться... Смертная тоска — состояние неопределенное, это не зубная боль, которая если не слева, так справа, и не сверху, так снизу. Но он смотрит на мир так, словно с самого раннего детства отбывает пожизненное принудительное присутствие в нем. Она давно угадала это состояние, но ничего не могла сделать, даже пожалеть — их семейная жизнь сложилась так, что не в ее власти было совершать хоть мало-мальски значительные поступки.

И потом — Рей не позволил бы ей жалеть себя.

Стенные часы пробили половину пятого. Из кухни едва уловимо потянуло имбирем и сельдереем — вероятно, мисс Актон в последний раз открыла духовку, проверяя, хорошо ли поджарились индейка. Норман старомоден и в этом: он не признает белых «белтсвиллских малюток» и каждый год выписывает бронзового тридцатифунтового великана-петуха, большую часть которого забирает потом мисс Актон, когда едет в Ду-Бойс навестить свою дальнюю родственницу, которую она для простоты именует племянницей. Но сегодня она просила у Нормана разрешения уехать не в субботу утром, как обычно, а на целых три с половиной дня. Всегда такой педантичный, Норман в последние дни находился в каком-то приподнятом настроении и поэтому с легкостью отпустил мисс Актон, забыв даже спросить формальное согласие Алин. Впрочем, не посоветовавшись с нею он и тогда, когда предоставил свободу сыну на весь вечер. Если бы муж не выглядел так солидно, то Алин, пожалуй, сравнила бы его сейчас со школьником, дождавшимся каникул...

— Вы не опоздаете на пятичасовой автобус, Дора?

— Успею. Значит, индюшка в духовке, выключить ее надо через двадцать минут. Тыквенный пирог вот здесь, под салфеткой, а картофельную запеканку надо не забыть полить брусничным вареньем — мистер Фэрнсворт ее почти не ест, но любит, чтобы подавали именно так. Да, ананасное желе в холодильнике. Не перепутаешь, девочка моя? Тебе редко приходится оставаться за хозяйку.

Для мисс Актон она безнадежная девочка, и, когда нет близости Нормана, можно подумать, что они разговаривают в доме деда два десятка лет тому назад.

— Соус светловат... Шалфей нынче уже не тот, да и индюшка припахивает рыбой. Ну, счастливо провести праздники, мэм!

— И вам счастливо, Дора. Кстати, с вашей племянницей ничего серьезного не случилось?

— Отказали ей от места, только и всего. Ее хозяин перебирается куда-то за океан, и вот теперь вместо экономки хочет взять себе секретаршу, да чтоб говорила на всех языках и держалась, как леди. Держать себя, коли голова есть на плечах, по моему разумению, дело нехитрое, но вот языки...

— Может быть, вы передадите ей небольшую сумму, Дора, пока она не найдет себе новой работы?

— У нас у всех отложено на черный день. А тебе всегда надо иметь под рукой наличные, девочка. Жизнь иногда так повернется... Ох, я уж и впрямь опаздываю!

Вот они и вдвоем с Норманом. Открыть рояль? Обязательно. Ведь он попросит ее сыграть. Сначала Бах, потом немного негритянских спиричуэл. «О Майкл, греби к берегу, аллилуйя, молоко и мед на другом берегу, аллилуйя...» Почему на другом берегу всегда чудятся молоко и мед? Может быть, оттого, что их так не хватает на этом?

Она оглядела свою гостиную. Да, у нее и на этом берегу всегда хватало и молока, и меда. Поэтому о других берегах ей и в голову не приходило мечтать. Все есть, и ничего лишнего. Впрочем, какой-то мелочи не хватает... Может быть, света? Действительно, старинных дедовских подсвечников когда-то было два. Один ей попался на глаза, когда она распаковывала вещи после переезда в Атенс, а второй, вероятно, остался на дне какого-нибудь баула. Поискать его, пока дожаривается индейка?

Подсвечник нашелся — черный, чуть ли не замшелый. Она и позабыла, что серебро от времени темнеет. Вот так хозяйка! И мисс Актон уже уехала, а чистить самой — это перепачкать руки и платье. Как все нескладно сегодня!

Она снова завернула подсвечник в папиросную бумагу и опустила его на дно баула. При этом пальцы ее нащупали что-то глянцевитое и совершенно плоское.

Белый картонный кролик? Но откуда?

Ах да, ведь это «книжка-зверюшка», картонного кролика нужно раскрыть, и внутри окажется смешная сказочка. Хотя нет, не очень смешная. Даже страшная. Тогда, в Сент-Уане, Алин не дочитала ее до конца. Рей сказал, что маму-крольчиху продали трактирщику, и тот, естественно, ее зажарил... Алин наклонила голову и как-то помимо воли пробежала глазами по крупным строчкам: «На следующий день посетители снова потребовали жаркое, и трактирщик выбрал самого крупного крольчонка, ободрал его и насадил тушку на вертел. И тут крольчонок Ролли вспомнил, как его мама-крольчиха выступала в цирке, хотя сам ни разу этого не видел. Он подбежал к огню, сел на задние лапки и, быстро-быстро перебирая передними, начал крутить ручку вертела. «Смотрите, смотрите, — закричали посетители трактира, — один кролик поджаривает другого!» И верно, тут было на что посмотреть. Поэтому на другой день в трактире собралось множество народа, а крольчонок Ролли снова крутил вертел.

С тех пор трактирщик зажил припеваючи. Со всех сторон приходили люди посмотреть на его удивительного крольчонка, и скоро он так разбогател, что продал трактир, поселился в собственном домике, а крольчонку Ролли купил самую большую клетку и кормил его только самой сладкой морковкой. Одного не мог понять трактирщик до самой смерти: как же крольчонок Ролли научился обращаться с вертелом и не бояться огня, если он ни разу в жизни не видел маму-крольчиху в цирке, когда она все это проделывала?»

Да, нечего сказать, книжонка написана вполне современно — и бойко, и сентиментально, и тошнотворно одновременно. Непостижимо другое: как можно было напечатать книжку про зверька, который поджаривает своего собственного брата? Впрочем, и это в духе времени. Но как могла такое написать женщина?..

Алин еще раз взглянула на обложку — да, Фэрни С. Уорт. Какое-то страшно знакомое сочетание... Фэрни С. Уорт. Фэрнсуорт.

— Разреши пригласить тебя к столу, дорогая?

С годами Норман стал еще старомоднее, нежнее и предупредительнее. Он уже включил бутафорский камин и зажег настоящие свечи. Полотняная клетчатая скатерть — в традициях подражания массачусетским первопоселенцам. Старинное девское серебро. Смешанный запах поджаренного сельдерея и патоки — запах последних дней осени. И в центре всего этого венчающая стол праздничная индейка... нет, тушка кролика, зажаренная собственным братцем.

— Что с тобой, Алин? Тебе дурно?

...Пепельно-багровые огни, мигающие, шепчущиеся между собой. Как хорошо, что Норман перенес ее в это кресло — спиной к столу.

— Выпей вина, дорогая, это «божоле», твое любимое. Выпей, и все пройдет. Ты ведь просто устала, не правда ли, Алин? Ты просто устала. Сейчас я принесу тебе подушку под ноги и плед. Теперь хорошо? Я совершенно напрасно отпустил сегодня мисс Актон, но я сейчас дам телеграмму, чтобы она вернулась первым же автобусом. У тебя ведь есть адрес ее родственницы, не так ли? А сегодня ты проведешь весь вечер здесь, у камина, и я все буду делать сам, вот только не смогу вместо тебя сесть за рояль. Но ведь можно включить магнитофон, я вчера достал превосходную запись «Глории»...

Почему он так суется? Испугался? За кого испугался?

Игрушечный домик. В любом месте, в каждом городке он умел создавать вот такой крошечный экспериментальный мирок. Вольер? Приличнее назвать: кукольный домик для кукольной жены. Ну а что делать, если любимая кукла вдруг ломается?

— Ты просто устала, Алин, маленькая моя, но нужно потерпеть еще немного...

Почему ее так коробит от этого ласкового «маленькая моя»? Не оттого ли, что так обращаются к женщинам, которые не стоят своего особенного, ни к кому на свете более не обращенного нежного слова?

— Потерпеть надо совсем немного, Алин. Потерпеть до той поры, пока Рей окончательно не станет взрослым. Забавно, правда? Рыцарь говорит своей возлюбленной: погоди, пока мы станем дедушкой и бабушкой, и тогда и к нам придет пора ничем не затененной любви... Но не улыбайся, Алин. Ты живешь легко и беззаботно, даже не подозревая, что вся наша с тобой жизнь подчинена исполнению великого предназначения...

Он сегодня не просто старомоден, он высокопарен. Но ей

совсем не смешно, и где уж тут до улыбки! Жила ли она легко и беззаботно, как считает Норман? Жила... бы.

Если бы повседневно, повсечасно не ощущала над головой каменного жернова вот этого проклятого «великого предначертания».

— Я никогда не говорил с тобой об этом, и не потому, что боялся, как бы ты случайно не открыла кому-нибудь хотя бы мизерную частицу моей тайны. Нет, Алин. Просто я намного старше тебя, и ты казалась мне всегда слишком юной и беззаботной, чтобы говорить с тобой, хотя бы в общих чертах, о моем открытии. Биологической сущности его ты не сможешь понять и сейчас, суть же остального... Тринадцать лет назад я решил, что расскажу тебе об этом тогда, когда наш мальчик станет взрослым. И вот сегодня я вдруг увидел, что это время настало.

Кто-то заметил, что дети становятся взрослыми, когда родители чувствуют, что они уже совершенно чужие друг другу... Если это так, то Рей был взрослым еще в пеленках.

— Но сейчас, когда подошло время поделиться с тобой самым сокровенным моей — нет, нашей — жизни, я вдруг подумал: а хочешь ли ты этого, Алин? Хочешь ли ты знать, для чего живем мы: я — Фэрнсуорт Первый, и Рей — Фэрнсуорт Второй, и его сын, который должен стать Фэрнсуортом Третьим?

Ей надо решать? Нет, правда, ей надо решать? Он доверяет ей что-то решить впервые за полтора десятилетия их совместной жизни?..

— Норман, зачем ты написал эту книжку про крольчонка Ролли?

— Это была глупая, неуместная выходка. Когда я сделал свое открытие, завершил работу, на которую мой отец угробил понапрасну всю свою жизнь, а я, по его милости, проскучал половину своей, у меня появилось детское желание проболтаться хоть кому-нибудь об этом. Несерьезно, ведь так? Непохоже на меня. Но я действительно не утерпел. Помнишь притчу о брадобрее царя Мидаса? Я поступил точно так же. Я написал детскую сказочку, где рассказал о сути, но не открыл ни одной детали. Только сам факт. Непростительное мальчишество, о котором я вдобавок еще и совершенно забыл, потому что встретил тебя. Крольчонок Ролли, который от рождения помнил все, что знала его мама... Глупо и несерьезно. Но сказочку почему-то напечатали, и я получил ее как раз накануне того дня, когда мне сообщили, что наш мальчик связался с этим пройдохой Фрэнком и около них уже начали увиваться какие-то дошлые репортеры... И я вдруг панически испугался, что Рей им все разболтал, нечаянно, не отдавая себе отчета в том, что говорит. А ведь смысл нашей жизни именно в том, чтобы он был единственным, слышишь — одним-единственным на всей земле.

— Но я не понимаю, Норман, как мог он, малыш, разбираться в деталях твоего открытия?

— Да оттого, Алин, что сам он ни в чем не разбирался, это уже было заложено у него в мозгу, он родился с этим запасом знаний, понимаешь? Ведь суть моего открытия и заключается в том, что я научился передавать по наследству весь комплекс

отцовской памяти. Абсолютно все, даже то, что я сам сейчас не мог бы припомнить, Рей получил в готовом виде. В школе ему ничего не нужно было учить — он только вспоминал, и достаточно было небольшого повода, чтобы одно за другим потянулись воспоминания, часто неосознанные, как стихотворение, заученное на незнакомом языке. Можно не понимать ни слова, но отбарабанить его целиком. Вот так Рей мог проговориться о моем открытии — ведь он до самых ничтожных деталей знал, как оно реализуется. Вот почему я так перепугался, когда Рей заговорил о каком-то кольце. Нелепое совпадение, мальчишеская болтовня, но совпадения всегда ошеломляют, и вместе со всеми остальными подробностями Рей знал, что кодовое название моей работы — «кольцо Фэрнсуорта»...

— Это звучит почти как «Кольцо Нибелунга»!

— Почти? Да какое здесь может быть сравнение! Что давало Кольцо этому золотушному Альбериху? Власть над золотом, и только. Но еще во времена Эдды было известно, что без головы на плечах и со всем золотом мира ничего не добьешься, разве что станешь целным драконом при собственном сокровище — незавидная судьба Фафнера. Нет, мой талисман, мое Кольцо дает другую, высшую власть над миром — это власть сконцентрированной в одном мозгу информации... Информация! От этого слова на первый взгляд несет канцелярией или редакцией вечерней газеточки, оно обращено на тощей ниве дешевой бумаги и вспоено типографской краской; оно звучит не слишком респектабельно в высшем обществе, а в мире богемы оно просто доняет низменным практицизмом. И в то же время информация — это единственное сокровище, накапливаемое человечеством, это истинное золото обитаемой вселенной. Когда-нибудь в ее честь будут сложены гимны — «Гравь, Информация, мирами» или «Информация, Информация превыше всего, превыше всего во всем мире...» Но много ли этого сокровища способен накопить человек? Жизнь его коротка, и большую, да к тому же и лучшую ее половину он тратит на усвоение азбучных истин, этой информационной махины! Это же смертный грех — убиение времени...

Смертный грех. Смертный грех. Смертный грех... Словно перестук колес. Неотступный и неотвязный. Туки-тук. Туки-тук. Смертный грех. Смертный грех.

— ...но вот в этот мир пришел новый человек — Фэрнсуорт Второй, сын Фэрнсуорта Первого. Всю информацию, накопленную мной почти за сорок лет, он получил даром, как принц Уэллский — корону. Свои лучшие годы, годы самой активной деятельности он посвятит накоплению новой информации, которую, в свою очередь, передаст Фэрнсуорту Третьему. И это неизбежно, Алин: в одном из последующих поколений вновь родившийся Фэрнсуорт будет располагать уже таким запасом информации, что она позволит ему стать властелином мира. Ты спросишь — как, каким образом? Он сам выберет путь и средства, ибо будет мудрейшим из людей, а стремление к богатству и власти всегда останется в крови Фэрнсуортов, ибо это передано им я, со всеми своими знаниями и опытом, со всеми мечтами и надеждами, со всей своей ненавистью и любовью.

Со всей ненавистью... и всей любовью. И это даром. Как ко-

рона — для принца Уэльского. Любовь по наследству.

— ...когда-нибудь мое открытие будет повторено — это неизбежно, ибо такова судьба всех открытий. Появятся другие люди, унаследовавшие память отцов и, может быть, матерей. Но это уже будет неважно: Фэрнсуорты всегда будут выше остальных, ибо их объем наследственной памяти будет превосходить всех других на несколько поколений, и они неизбежно будут главенствовать даже над себе подобными. Фэрнсуорты, Фэрнсуорты, Фэрнсуорты превыше всего!.. Ты меня слушаешь, Алин? Алин, ты спишь? Правьте, Фэрнсуорты, всем миром... Спи, Алин. Спи, маленькая супруга Фэрнсуорта Первого. Когда-нибудь в музеях Чикаго и Нагасаки, Москвы и Мельбурна будут висеть твои портреты, и каждая мелочь твоей жизни станет достоянием биографов — и безымянная вереница твоих учителей рисования, и львиный рык Леона-Баттиста Эскарпи, и тюльпановое дерево, под которым ты любила сидеть с маленьким Реем в нашем саду... Но все это будет позже, а сейчас — сейчас я напрасно рассказывал тебе о своей тайне. Ты ничегошеньки не поняла, маленькая моя...

Господи, как он устал! Он устал от вечного страха — от того страха, которым он пытался поделиться с Алин: только бы никто другой не поторопился, не пошел по его пути, не повторил его великого и неведомого пока никому открытия, потому что тогда все напрасно: и прозябание в провинциальном городишке, и возня с частными учителями для Рея, и это лихорадочное копание в гряде научных журналов и бюллетеней, и недолгое облегчение: нет, никто даже отдаленно не занимается этой проблемой...

А Рей задерживается. Вот бы не подумал, что ему может понравиться на заурядной студенческой вечеринке! Ложиться не стоит, разве что подремать в кресле, как Алин. Странно, что она так спокойно уснула — раньше ведь она так волновалась за Рея, когда он уходил из дому. Что делает сейчас мальчик? Танцует? Пытается подражать своим более опытным сокурсникам? Вряд ли — Рей не склонен к подражанию. Но одно непреложно: Рей унаследовал старомодные вкусы отца, и теперь ему нелегко будет найти себе такую же подругу, хрупкую до прозрачности, похожую на саксонскую фарфоровую пастушку... Скорее бы, в самом деле. А то этот нескончаемый страх — только бы ничего не случилось, только бы не начинать все сначала. Конечно, Алин еще молода, да и он не чувствует себя стариком, так что второй ребенок не стал бы для них неразрешимой проблемой, но — потерянные годы, все упирается в потерянные годы. Скорей бы, скорей. Фэрнсуорт Третий — и можно вздохнуть спокойно, и можно принадлежать только себе... и Алин.

— ...Где Алин? Я тебя спрашиваю, где Алин?!

— Фу, Рей, как ты меня напугал... А я и не заметил, что задремал. Но в каком ты виде?

— Где Алин?

— Во-первых, я неоднократно запрещаю тебе называть маму по имени. Во-вторых, она спит в кресле у мамина.

— Там ее нет. Зато есть записка... на твоё имя.

— Ты осмелился прочесть?

— А почему бы нет? Разве я не должен знать все, что знаешь ты? Разве я не рожден именно для этого?

Норман никогда не заговаривал с сыном о тайне его происхождения над остальными. И Рей не касался этой темы. Сегодня впеовые. И вообще мальчик основательно пьян.

— Прими душ, Рей, если ты в состоянии, и немедленно ложись спать. Завтра я поговорю с тобой.

Что еще за послание в праздничную ночь? Может быть, Рео просто померещилось?

В столовой по-прежнему ритмично мерцал камин. Алин, конечно, ушла к себе. Но записка.. записка была.

«Я ухожу из твоего дома, Норман, чтобы никогда больше не встречаться с Реом. Бедный мой мальчик! Лучше бы ему родиться слепым, глухим, парализованным, лучше бы ему совсем не родиться — чем быть таким, каким сделал его ты. Прощай».

Ну вот, только этого ему и не хватало — этой нелепейшей выходки со стороны всегда такой покорной, ни над чем не задумывавшейся Алин. Она, разумеется, никуда не денется — надо только часов в шесть утра, когда рассветет, взять машину и съездить за ней в Ду-Бойс. Правда, мальчик в таком состоянии останется дома один...

— Ты прочел?

— Почему ты не в постели, Рей? Разве я не велел тебе...

Рей оттолкнулся плечом от дверного косяка, медленно пошел к камину, обходя кресла, и Норман невольно отметил, что, несмотря на природную хрупкость и непомерно высокий рост, сын уже утратил мальчишескую угловатость, и движения его плавны и исполнены бесконечного достоинства, как... как поступь Логе, явившегося, чтобы привести в исполнение приговор над утратившими бессмертие властителями рейнского Кольца... И этот черный тонкий свитер, плотно охватывающий гибкую фигуру, и волосы до плеч, в багровых отсветах камина кажущиеся огненно-каштановыми...

— Я-а тебе-е приказа-ал!..

Крик Нормана захлебнулся и затих в ночном неподвижном сумраке маленького дома.

— Сядь, — тихо велел сын. — Сядь, Фэрнсдорт Первый. Сегодня приказываю я.

— Мальчишка! Да как ты...

— Сегодня приказываю я, Фэрнсдорт Второй, и, следовательно, старший по рангу. Ведь старшинство определяется количеством накопленной информации, этого золота вселенной, не так ли?

— Ты пьян!

— Ровно настолько, чтобы позволить себе разговаривать с тобой. Раньше у меня такого желания не возникало. Раньше, когда я, с твоего благословения, собирался на эту жеребьячку попойку и почти не надеялся на то, что смогу рассчитаться с тобой так скоро

— Рассчитаться? Мой бог, какая вульгарщина... Но что ты хочешь этим сказать?

— Вульгарщина? Да ну? А мне-то всегда казалось, что ты

и затевал-то все это только ради окончательного расчета. Столбик поколений, черта — и под ней итог: бессмертная слава основателю династии Фэрнсуортов, властелинов мира! Разве нет? Что ты молчишь, основатель династии... монстров, бесплатно одаренных всеми сокровищами твоей памяти. А ты подумал о том, хочешь ли я обладать ими, этими сокровищами? И что мне сделать теперь, чтобы избавиться от них?

— Мы оба чересчур горячимся, Рей. Когда ты выспишься и мы сможем обсуждать этот вопрос спокойно, ты будешь вынужден признать, что те неоспоримые преимущества, которые ты обрел вместе с наследственной памятью, стоят хотя бы благодарности.

— Благодарности? Тебе? Да с того самого момента, как только я научился различать человеческие лица, я чувствовал к тебе лишь ненависть. Вполне волен в своих чувствах я никогда не был — ведь большинство из них я получил даром, как умение дышать, как способность различать запахи; но вот ненависть к тебе — это мое, понимаешь, МОЕ, ибо это родилось во мне и от меня самого. Тебя это удивляет? Странно. А ты ведь немало потрудился, чтобы заслужить эту ненависть. Ведь стоило в моей жизни появиться хоть чему-то новому, как сразу же возникал ты... Помнишь, в парке стоял зеленый столб с указателями: «Площадка для лаун-тенниса — налево», «Туалеты — направо»? Так вот, ты для меня всегда был этим зеленым столбом. Это — любить, это — уважать, вот это — почитать, а того — боже праведный, сторониться, как чумы, и вообще — туалеты направо, леди и джентльмены!

— Рей, уже далеко за полночь..

— Ты увез меня от единственного друга — помнишь Фрэнка, мальчишку с бензоколонки? После этого я уже не позволял себе роскоши даже мечтать о друзьях. Ты отнял у меня мою детскую мечту — видите ли, Фэрнсуорту Второму надо было стремиться к владению миром, а не автозаправочной станцией. Ты заставил меня заняться биологией, забыв про то, что ты сам в молодости терпеть ее не мог и штудировал ее только затем, чтобы сохранить право на отцовское наследство. Можешь себе представить, как я относился к этим занятиям, если твоя же неприязнь к биологии была теперь помножена на мою ненависть к тебе самому! Ты думаешь, меня делало счастливым сознание собственной исключительности? Да, я очень рано понял, что я не такой, как все. До конца я это понял уже тогда, когда увидел твою глупейшую книжку про крольчонка Ролли. Едва Алин прочитала мне несколько строк, как я тотчас же вспомнил всю сказку — боюсь, что ты подробнейшим образом просмаковал про себя этот милый сюжетец, прежде чем сесть за машинку. И еще я понял, что крольчонок Ролли — это не кто иной, как твой сын. То есть я сам. И знаешь, вместо упоения собственной исключительностью мне стало тоскливо и гадко, словно в воздухе запахло паленым кроликом. С тех пор, когда я вспоминал о своих выдающихся способностях, я явственно ощущал запах горелой шерсти. И знаешь, что во всей этой мерзости служило мне утешением? Мысли о том, что ты должен умереть раньше меня. Что хоть когда-нибудь я от тебя избавлюсь. Когда я видел почтовый четырехосный фургон, я

представлял себе, как он с хрустом подминает тебя под свои тугие шины; когда подымался ветер, я с надеждой смотрел на тюльпановое дерево, ожидая, что оно обвалится именно в тот момент, когда ты будешь проходить под ним; мало-помалу я и сам начал действовать в своих мечтах — о, все те комиксы, которыми ты баловался в армии, сыграли тут немаловажную роль. Ты погибал загадочно, бесследно и главное — безнаказанно для меня. А потом... потом мы с Алин возвращались в тот уютный городок, который она шутя называла Сент-Уан; я сидел в саду, а из окон лилась музыка — это она играла для меня. Но в своих мечтах я подрастал, и помимо моей воли в этот волшебный мир, где было место только для меня и Алин, вклинивался кто-то третий. В самом деле: ведь я был должен — я чувствовал, что должен! — иметь сына. Я был обязан вырастить Фэрнсурта Третьего. Я совсем не хотел этого, но меня принуждало к этому что-то, что сильнее меня. Это было насильно вложено в мой мозг, но я никак не мог примириться с мыслью о том, что в саду, наполненном музыкой, будет бегать еще и мой сын, который будет так же ненавидеть меня, как я тебя! Я успокаивал себя тем, что это случится очень не скоро; ведь для того, чтобы иметь сына, нужно по крайней мере жениться, но вот Бекки Тэчер, обязательной для всех мальчишек, у меня почему-то не было. Ведь это так трудно — найти свою Бекки, которая во всем была бы похожа на Алин.

— Молодости свойственно верить в идеалы, — криво улыбнувшись, пробормотал Норман.

— Молодости — да, но я родился с душой взрослого человека. Чудес не бывает, и я встречал только отдаленно похожих... Или весьма похожих, как это случилось сегодня. Она была уже порядком пьяна, когда я пришел. Наверное, ее позабавило, что я не спускаю с нее глаз, а может быть, она захотела подразнить кого-нибудь из наших парней... Я в этом не разбираюсь. Короче говоря, она занялась мною. Не пугайся, это означает только то, что она собственноручно пыталась меня спить и целовала после каждой рюмки. Дурачилась. С ее точки зрения, это было совсем не страшно. Но весь ужас в том, что я начал вспоминать... Раньше мне казалось, что я припомнил уже решительно все, что когда-то передумал или перечувствовал ты... Святая наивность! Для того чтобы цепь воспоминаний начала разматываться, надо было потянуть за ниточку. Совсем как в сказке: дерни за веревочку, дитя мое, дверь и откроется... До сих пор мне открывались самые разнообразные двери, кроме одной. Если ты думаешь, что я пьян, то ты ошибаешься — у пьяных слова легко и просто слетают с языка; у меня же не хватает сил... нет, не сил — мужества, чтобы произнести то, что я понял и почувствовал. А это можно выразить самыми обыкновенными словами... Одной фразой...

Рей подошел к столу, немножечко неловко — левой рукой — налил целый бокал «божол», но отпил только один глоток и вернулся на прежнее место. Бокал он поставил на каминную доску все так же левой рукой, не вынимая правую из кармана.

— Это действительно очень просто, — продолжал он, хотя совсем не просто было сочетание его чистого мальчишеского



голоса и тех жутких слов, которые он произносил. — Я вспомнил все, что было между тобой и Алин, и понял, что для меня никогда не будет существовать ни одной девушки, как бы похожа она ни была на Алин. Потому что я уже люблю, люблю с первого своего дыхания, с первого своего взгляда, люблю великой, проклятой богом и людьми любовью... Я люблю свою мать.

— Это невозможно, Рей!

— Это неизбежно. И мне никуда не деться от этого страшного наследства... разве что разбить себе голову.

— Ты сошел с ума!

— А, вот теперь я слышу неподдельный ужас! Как же, оборвется цепь твоего великого Кольца, и тебе придется все начинать сначала... Не так ли? Ты не упустишь добычи, ты начнешь все сначала, ты разыщешь Алин, ты заставишь ее вернуться в твой дом, ты против ее воли сделаешь ее матерью второго монстра, второго выродка, второго такого, как я. Не возра-

жай, лгать мне бесполезно — уж я-то знаю, что ты твердо решил добиться своего — не с первого, так со второго захода. Ты знаешь, где искать Алин, и ты ее найдешь.

— Чего же ты хочешь?..

— Я собираюсь пристрелить тебя. Как собаку. И не за себя — за Алин, которую ты сделал самой несчастной матерью на земле. За мою Алин.

— Рей! Прекрати эти шутки! Тебя посадят на электрический стул!

— Ну, мне будет что сказать себе в оправдание.

— Пожизненная тюрьма несколько не лучше, Рей!

— Не все ли равно, если она не хочет больше меня видеть...

— Рей, погоди! Рей, оставь револьвер в покое, ты же не умеешь с ним обращаться!

— Право?

Рей взвесил револьвер на ладони — привычная его тяжесть холодила руку, и он снова ощутил это сотни раз испытанное состояние, когда из глубин памяти всплывает что-то привычное, лишь ненадолго позабытое... Ах да, в армейском тире он выбивал сорок семь из пятидесяти — совсем неплохо для новобранца.

— Право? — повторил он и улыбнулся, как улыбаются детям, забывшим начало азбуки. — А зачем мне это уметь? В свое время ты неплохо с этим справлялся, и, пожалуй, это единственное из всего твоего наследства, за что я сейчас тебе благодарен...

На I и IV стр. обложки — рисунки Г. КОЛИНА

На II стр. обложки — рисунок Ю. МАКАРОВА к повести Е. Федоровского «Свежий ветер океана».

На III стр. обложки — рисунок Н. ГРИШИНА к повести Глеба Голубева «Лунатики».

**Редакционная коллегия: А. Г. АДАМОВ,
А. П. КАЗАНЦЕВ, А. В. НИКОНОВ, А. А. НОДИЯ, В. М. ЧИЧКОВ.**

Редакторы выпуска: О. СОКОЛОВ, В. РЫБИН

Художественный редактор Т. ПРОКУДИНА

Технический редактор А. БУГРОВА

Издательство ЦК ВЛКСМ «Молодая гвардия».

**Адрес редакции: Москва, К-30, Суцневская, 21. Тел. 251-15-00,
доб. 4-10.**

Сдано в набор 24/III 1976 г. Подп. к печ. 20/V 1976 г. А07307.

Формат 84×108¹/₃₂. Печ. л. 5 (усл. 8,4). Уч.-изд. л. 10,5.

Тираж 200 000 экз. Цена 20 коп. Заказ 622.

Типография ордена Трудового Красного Знамени изд-ва ЦК ВЛКСМ «Молодая гвардия», 103030, Москва, К-30, Суцневская, 21.